

уничтожения вполне оформилась лишь в 1960-х. США так и не решились на ядерную войну — и не смогли с помощью «ядерного шантажа» добиться от СССР серьезных уступок. Более того, не удалось их добиться и на протяжении того короткого послевоенного периода, когда у США была атомная монополия (и на протяжении куда более продолжительного периода, когда преимущество США в средствах доставки ядерного заряда было неоспоримым).

⁴⁰ Это понимает и Кремль. Принципиальная позиция России состоит в том, что «мы против какого-либо деления мира на своих и чужих, демократов и изгоев». См.: http://www.rian.ru/world/foreign_russia/20071010/83325547.html

⁴¹ *Miscamble W.D.* Op. cit. P. 255.

⁴² *Ibid.* P. 82.

⁴³ *Zubok V., Pleshakov C.* Inside the Kremlin's Cold War: From Stalin to Khrushchev. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1996. P. 17.

⁴⁴ Типичным можно считать, например, рассуждение про «идеологические стереотипы, двойные стандарты, иные шаблоны блокового мышления» времен холодной войны: под-

разумеается, что и американское восприятие СССР было столь же ошибочным и шаблонным, как советское восприятие США. См.: *Выступление* и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. 10 февраля 2007 г. (http://www.kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737_type63374type63376type63377type63381type82634_118097.shtml). См. также утверждение Владимира Путина в интервью ведущему американского телеканала Си-би-эс Майклу Уоллесу 9 мая 2005 г. о том, что советские органы госбезопасности «в условиях “холодной войны”... выполняли прежде всего функцию защиты интересов страны» (http://www.kremlin.ru/appears/2005/05/09/0800_type63379_87802.shtml).

⁴⁵ *Gaddis J.L.* Op. cit. P. ix. Подробный критический разбор книги см. в: *Painter D.* A Partial History of the Cold War // *Cold War History*. Vol. 6. Iss. 4. Nov. 2006. P. 527–534; *Lundestad G.* The Cold War According to John Gaddis // *Cold War History*. Vol. 6. Iss. 4. Nov. 2006. P. 535–542. Ответ автора см. в: *Gaddis J.L.* Reply to Painter and Lundestad // *Cold War History*. Vol. 7. Iss. 1. Febr. 2007. P. 117–120.

Национализм в мировой истории / Под ред. В.А. Тишкова, В.А. Шнирельмана / Институт этнологии и антропологии РАН. М.: Наука, 2007. 601 с. *

Постсоветские дискурсы, как общественно-политические, так и политологические, остро нуждаются в том, чтобы преодолеть три ущербные традиции: во-первых, сугубо натуралистическое (эссенциалистское) понимание «нации», во-вторых, оценочное употребление понятия «национализм» (не важно, с каким знаком) и, в-третьих, использование термина «нация» для обозначения одновременно и этнокультурной, и гражданско-государственной общности множества индивидов и коллективов.

Ущербность первых двух дискурсивных традиций бесспорна, то есть тут попросту не о чем говорить. По поводу третьей возможна дискуссия, поскольку в данном случае есть выбор:

либо мы изымаем из академического обихода термин «нация» вообще наподобие того, как это в свое время было сделано со знаменитым «флогистоном» или же со словом «душа», либо договариваемся об использовании понятия «нация» только в одном смысле — все равно каком, но лишь бы в одном, а не в двух.

Рецензируемая книга тематически и стилистически как будто бы недвусмысленно вступает в борьбу со всеми этими негативными традициями. И вроде бы ее

* Авторы: С.Н. Абашин, Е.Ю. Ванина, Л. Гринфелд, А.Н. Кожановский, Г.Г. Косач, М.А. Липкин, А.Н. Мещеряков, А.И. Миллер, Е.Ю. Полякова, С.А. Романенко, Р.Г. Суни, В.А. Тишков, Е.И. Филиппова, О.В. Хаванова, В.А. Шнирельман

авторы склоняются к тому, чтобы закрепить «ярлык», или «этикетку» (*l'étiquette*, по выражению Пьера Бурдьё) «нация» за гражданско-государственной, а не этнической общностью.

Центральный тезис книги артикулирован со всей определенностью по меньшей мере дважды: «Нация есть продукт национализма» (с. 574) и «нация, представляемая националистами как народ (*Volk*), является продуктом идеологии национализма, а не наоборот» (с. 20). Соответственно, весь массив работ по вопросам формирования и строительства наций фиксирует «не состояние коллективных тел и их “зрелость” по неким признакам (как узнают по цвету, созрела ли тыква)», а дает «описания дискурса по поводу нации» (с. 21). Одним словом, нация — не тыква. Этот образ, отсылающий к агробиологии, эффективен именно в борьбе с попытками построить естественно-научную теорию нации-этноса, чем так увлекались в советские времена марксисты (да и антимарксисты вроде Льва Гумилёва) и что ныне выглядит предрассудком.

Очерки, включенные в книгу, на разные лады развивают, иллюстрируют и аргументируют данную исходную идею, приобретающую, пожалуй, парадигматический статус. Естественно, русскому читателю интереснее знать, как этот подход реализуется на русско-российском материале. Российской тематике в томе посвящены очерки Роналда Суни и Виктора Шнирельмана (в первом разделе «Общие подходы и интерпретации»), Алексея Миллера (во втором разделе «Исторические и региональные формы национализма») и Валерия Тишкова (в третьем разделе «Национализм как символический дискурс», хотя эта статья была бы более уместна во втором разделе книги или же в качестве послесловия к нему).

Тем, кто пишет о националистическом дискурсе исторического «российства»

во всех его геополитических ипостасях (Российская империя/царизм, Советский Союз, Российская Федерация), не позавидуешь. Положение исследователя данной эмпирии если и слегка получше губернаторского, то только потому, что губернатору приходится этой реальностью еще и управлять, либо, выражаясь в более либеральной манере, поддерживать здесь порядок — не мытьем, так катаньем. Этническая пестрота и чересполосица, обилие агентур националистического дискурса, перемены этнополитического курса, само разнообразие дискурса — всё это настоящий эмпирический кошмар в густом семантическом тумане.

До сих пор исследователи и комментаторы, руководствуясь познавательными и политическими мотивами, склонялись к двум простым толкованиям упомянутой эмпирии. Одни изображали российское прошлое как историю «лоскутной империи». Другие — как историю «национального государства, или по крайней мере национального государства, находящегося в стадии формирования».

Однако, как считает Тишков, ссылаясь (без особой надобности, как мне кажется) на Марка фон Хагена, пришло время вырваться из плена господствующих клише. Для этого есть аналитический аппарат. «Современные исследования национализма, соединяющие модернизационный и конструктивистский подходы, позволяют по-иному взглянуть на историю России в XIX веке» (с. 571). И далее: «Если принимать этот подход, а он на сегодняшний день является *господствующим в мировой науке* (очень уместное напоминание, курсив мой. — А.К.), тогда следует рассматривать не только “реальную” социологическую и культурную унификацию российского общества, но и степень распространенности российской идентичности и гражданского (государственного) национализма среди элитных слоев общества в противовес партикулярным (этническим) национализмам» (с. 574).

Вооружась подобной оптикой, Тишков обнаруживает в истории российской государственной/конституционной мысли все признаки озабоченности проблемой консолидации народа (народов) империи в ходе модернизации и весьма раннее толкование нации как общности, переживающей свою связность (если и не полное единство) через государственность. Извлечения из источников, сделанные автором, производят сильное впечатление (во всяком случае, на того, кто с этими материалами мало знаком), а факт употребления Александром I в 1797 году слова «нация» (с. 570) меня, признаюсь, просто-таки ошеломил.

Опираясь на эти данные, Тишков приходит к ряду выводов. Прежде всего он настаивает, что ему удалось обнаружить националистический дискурс в России еще в недрах царизма, то есть «нация как элитный дискурс особого типа в России началась раньше, чем вошло в оборот само слово “нация”» (с. 566). Похоже, что так оно и есть.

Формула «Россия — централизованное с федералистскими и культурно-автономистскими элементами государство» (с. 564) не вызывает возражений. Можно добавить еще один аргумент в пользу подобного подхода. Реальные геополитии всегда отклоняются от своего условно-нормативного образа, особенно если рассматривать их не статически, а как хронотоп. Так что историческое российство просто *не могло не быть* конституировано как гибрид или комбинация. Остается только найти формулу такой комбинации.

Смелое утверждение, что «СССР был не тюрьмой народов, а колыбелью наций» (с. 582), вызывает у меня даже энтузиазм. Кто-то же должен был сказать наконец, что «король одет, а не гол». Ленинская национальная политика, несмотря на все свои «отклонения от генеральной линии» и трудности ее совмещения с централизацией вла-

сти, прямо-таки пекла нации на конвейере и готовила их к будущей независимости. Тишков считает американца Терри Мартина тем смельчаком, который первым отважился признать, что СССР, как составной конгломерат, принципиально отличался от царской империи (см. статью Мартина в №2 журнала *Ab Imperio* за 2002 год; в последнем за десять лет его существования появилось много содержательных работ по тематике империализма и национализма). Наверное, теперь, когда данная точка зрения (пока маргинальная, как замечает сам Тишков) будет, вне всякого сомнения, быстро распространяться, обнаружатся и более ранние ее источники (я не имею в виду советско-марксистскую самоконцептуализацию СССР, всегда на этом настаивавшую, что и было, надо полагать, причиной, почему такая интерпретация оказалась на какое-то время с презрением отвергнута).

Однако формула «Россия накануне революции была как империей, так и национальным государством на основе многонародной нации» (с. 576), а тем более «Есть в России нация!» (с. 583) вызывают сильные сомнения, но не потому, что, дескать, наоборот, Россия не была национальным государством или в России нет нации, а потому, что оба этих утверждения бессодержательны в позитивистском смысле. В предисловии авторы и составители соглашаются с представлением, что национализм, «особенно в его манифестных политических формах», есть «политическая утопия и нереализуемый сценарий» (с. 13). Того, кто это запомнил, фраза «Есть в России нация!» ввергнет в недоумение.

В академическом дискурсе важны споры не о том, кто является нацией, а о том, какой коллектив более связан и консолидирован и чем это обусловлено. Такую исследовательскую программу реализовать нелегко. Связность и консолидированность геополитии в принципе измеряемы. Но соот-

ветствующие критерии выбрать не так-то просто: неизбежны дискуссии, причем не совсем ясно, насколько плодотворные. Еще труднее оценить вклад разных факторов, особенно националистического дискурса, в связность и консолидированность геополитии. Индивиды могут обнаруживать знакомство с какими-то тотемами, включая саму государственность. Они даже будут принимать участие в ритуалах их признания. Но насколько глубока эта самоидентификация, узнать трудно, и, по-видимому, данный вопрос проясняется (и то весьма относительно) только в результате тяжелых испытаний, которым подвергается единство. Можно согласиться с тем, что, как утверждает Тишков, «не этнический фактор разрушил империю и СССР» (с. 576). Советский Союз действительно распался не потому, что республиканские (титульно-этнические) самоидентификации были сильнее общесоветской (общероссийской). Но само по себе это еще не значит, что общесоветская (общероссийская) общность была так уж связна. И вообще неизвестно, достаточно ли одной даже глубоко интернализированной общей идентификации для сохранения целостности любой общности.

Тишков пишет: «Население нашей страны обладает высокой степенью единства в смысле общих ценностей, культурной гомогенностью, активным межэтническим взаимодействием, которым могли бы позавидовать многие крупные государства, утверждающие с разной долей успеха идею единой нации среди своего населения» (с. 584). Как я уже заметил, если исчислить «степень единства» по упомянутым и неупомянутым критериям и сравнить страны друг с другом, то, надо думать, нынешняя РФ займет весьма высокое место в иерархии стран по «рейтингу единства». Однако имеет ли смысл называть страны, которые располагаются в этой иерархии высоко, «нациями» в отличие от тех, что располагаются низко и, стало быть, называться

«нациями» не имеют права? Это вернуло бы нас к представлению о нациях как о «тыквах» в разной степени зрелости, против чего сами авторы обоснованно возражали. Не говоря уже о том, что подобное ранжирование неизбежно инспирировало бы напряженность в отношениях между странами, прошедшими тест на «нацию» и не прошедшими его.

Миллер, похоже, не считает, что столично-элитарный националистический дискурс сводился к конструированию «общности по государству», как выражается Тишков. Этнонационалистический компонент в российском националистическом дискурсе тоже был. Если у Тишкова российский государственно-националистический дискурс развивался «в противовес партикулярным (этническим) национализмам», то у Миллера он все же совпадал (пусть и не полностью) с этнонационалистическим русским дискурсом. У меня больше доверия вызывает диагноз Миллера, во всяком случае, если речь идет о прошлом. В его пользу говорит и то, что решающим для распада СССР оказался все-таки выход из него России, а не прибалтийских республик. Это только на первый взгляд выглядит как курьез, порожденный безответственной (якобы) конституционной интригой Ельцина против Горбачёва. На деле Ельцин инстинктивно понял, какая из карт козырная. Кстати, одновременно это свидетельствует о сильной имперской составляющей у геополитии СССР. Россия в подобной ситуации повела себя, как Британия или Франция.

Нужно, конечно, оговориться, что в действительности российский и русский националистические дискурсы могут расходиться либо сближаться и в будущем вовсе не обязательно всё будет так, как было в прошлом. В Российской Федерации, похоже, больше шансов на их сближение, чем было в СССР, но, с другой стороны, и мир теперь не тот, каким он был полвека назад.

Относительно прошлого Миллер делает сразу же важные уточнения. Существование русского националистического дискурса рядом с российским не значило, пишет он, что все народы подлежали однозначно понимаемой русификации. «Сама напряженность дебатов о границах русскости и критериях принадлежности к ней служит убедительным доказательством, что русский проект национального строительства, будучи экспансионистским, заведомо не стремился к охвату всей империи и всех ее подданных» (с. 336).

Миллер полагает, что в российско-русском национальном дискурсе существовало представление, которое он именуется (ссылаясь на одно из направлений современной географии) «воображаемой национальной территорией» (с. 335). И это не все пространство Империи. «Русский национализм идеологически развивался и формулировал свой образ национальной территории во взаимодействии и соперничестве с другими национализмами империи» (с. 337).

Причем «в колонизации и в символическом освоении (я бы сказал, присвоении. — А.К.) пространства националистическая и имперская мотивации порой сочетались, а подчас выступали независимо друг от друга и даже вступали в противоречие» (с. 344). Вот только один пример: национализм отвергал Польшу, а империализм ее присваивал. Замечу, что аналогичным образом в наше время новомосковский империализм (пусть сейчас и не очень решительно) тянет руки к Средней Азии, а русский национализм от нее отрешивается.

По мнению Миллера, конфигурация и протяженность русского «воображаемого национального пространства» были инспирированы континентально-непрерывным характером Российской империи. Сунни тоже придает этому обстоятельству большое значение, противопоставляя территориально-непрерывные империи

территориально-прерывным (наподобие Британской империи). Он даже идет дальше, чем Миллер, считая, что в непрерывных империях «политические элиты могут попытаться сконструировать гибридные концепции империи-нации, примером чему стали попытки элит царской России и Османской империи в XIX веке» (с. 44). В этом что-то есть: непрерывность пространства имеет так некоторую гипнотическую силу. Но все же кажется, что попытки петербургского самодержавия консолидировать Россию как «нацию» в любом из двух и в обоих (через государство и через культуру) смыслах этого слова легче объяснить безгосударственным и вообще бесструктурным состоянием ее колониальной периферии, а также влиянием европейских образцов. Британия не помышляла о том, чтобы переварить Индию, не потому, что между ними была «большая вода» (выражение Миллера), а потому, что это была, «сами понимаете, Индия», а не «ныне дикой тунгус и друг степей калмык» или даже Грузия, к примеру. Американские колонии, а позднее Австралию и Новую Зеландию в Лондоне считали плотью от своей плоти, чему не мешала «большая вода» между ними. Все эти потомки переселенцев с Британских островов до сих пор воспринимаются как «кузены», и всемирное «англосаксонство» консолидировано, несмотря на формальный суверенитет представляющих его государств, больше, чем, скажем, нынешняя Индия. И — о ужас! — больше даже, чем пара Англия — Шотландия.

Другая формула Сунни («История царизма — это история империи, которая время от времени ступала на путь нациестроительства») вкуче с утверждением, что «эта государственная практика всегда вступала в конфликт со структурами и дискурсами империи» (с. 74), выглядит вполне реалистично, и, в сущности, мы здесь имеем еще одну вариацию на тему фундаментальной гибридности

геополитического российства. Во всяком случае, это проливает свет на один из механизмов возникновения такой гибридности.

Суни, в отличие от Тишкова, не верит, что националистический дискурс в рамках империи хотя бы отчасти удался. Он, по его собственным словам, использует «идеальные типы империи и нации» для анализа структуры и эволюции царской империи и провала попыток сконструировать в ее рамках жизнеспособную «национальную» идентичность (с. 37). Эта заявка вызывает разного рода сомнения. Здесь я упомяну только об одном — методологическом. Такой аналитический инструмент, как идеальный тип, для исследования всей этой фактуры не разработан, и его разработка — дело очень трудное. Суни же пользуется понятием «идеальный тип» нестрого и неэффективно. Я оставляю данное свое утверждение без обоснований, потому что для этого понадобились бы пространственные рассуждения (более или менее «на ощупь») о том, что такое «идеальный тип» (по Веберу) и как он конструируется. Замечу, впрочем, для иллюстрации, что империя — это предметная, а нация (поскольку миф) — духовная фактура, что уже само по себе ставит перед конструктором идеальных типов интеллектуальную проблему.

Очерк Шнирельмана дополняет эти опыты концептуализации российства как агента националистического дискурса критикой одной влиятельной новейшей тенденции. Речь идет о так называемом цивилизационном подходе. Термин «цивилизация», замечает этот автор, теперь все чаще звучит там, где раньше говорили об этносах, нациях и государствах (с. 93).

Шнирельман считает, что подлинные мотивы тех, кто теперь злоупотребляет данным понятием, рассуждая о России, далеки от научных. Термин «цивилизация» придает России «особый престиж, поднимая ее над уровнем обычной страны». К тому же «сни-

мается проблема сопоставления России с другими обществами» — дескать, мы другие, и всё тут. «Цивилизационный подход, — продолжает Шнирельман, — дает России надежду на возрождение в будущем и наделяет ее особой миссией» (с. 97). Цивилизационный подход укрепляет также «миф о необычайной устойчивости этнической духовности» и тем самым возвращает нас, в сущности, к расизму, создавая почву для расцвета «культурного расизма» (с. 96).

Это, конечно, правда, но отнюдь не вся. Дискуссия о том, существует ли особый российский либо евразийский культурный круг, не бесплодна. И толкование российства как цивилизации появилось не вчера. Как замечает Миллер, «образ Российской империи как особого цивилизационного пространства, где окраины лояльны Центру не только как центру власти, но и как центру цивилизационного притяжения, безусловно существовал как идеал в умах имперской элиты» (с. 345). В этом нет ничего удивительного: так воспринимают себя все имперские геополитии. И Франция, и Великобритания, и Португалия. Это их самовосприятие может быть более или менее обоснованным, но оно всегда не совсем безосновательно. Конечно, попытки поставить российство в один ряд с Индией, Китаем и Европой выглядят почти карикатурно. Содержательно Россия как цивилизация выглядит неубедительно и рядом с Англией или Францией. Но тут я решусь высказать еретическое по нынешним временам предположение: не русская славяно-тюркская старина с ее самодержавием и православием, а именно революционно-советский опыт с его футурологическим и природоборческим пафосом дает России основания для претензий на статус цивилизации. Говорим же мы об американской цивилизации отдельно от европейской и, между прочим, приписываем ей как раз те же свойства. Такими глазами на Россию (в паре

с Америкой) смотрели не только местные мегаломаны, но и Шпенглер, Вебер, а также влиятельный сегмент европейского социалистического движения. Одним словом, дискуссия здесь возможна.

Что касается построения книги, то структура ее не безупречна. Имевшиеся в распоряжении составителей очерки вряд ли можно было распределить по отделам каким-то более эффективным образом, и, на мой взгляд, было бы разумнее оставить том аморфным. Но это не так уж и важно. Подобных составных тематических томов сейчас издается очень много повсюду в мире, и все они грешат несколько искусственной группировкой материала. Важнее то, что тематика книги впечатляюще широка, а разработка разных тем на конкретных региональных материалах либо весьма интересна познавательно, либо насыщена тонкими наблюдениями и соображениями, либо и то и другое вместе.

В предисловии заявлено, что «национализмы разные и каждый эволюционирует» (с. 7). Далее, в предисловии и во второй части тома, дается представление об этом разнообразии. В предисловии называются структурно-содержательные компоненты националистического дискурса. Во второй части в нескольких очерках выборочно иллюстрируются разные конкретные случаи (*case studies*).

На этом фоне вызывает недоумение одна, как мне кажется, неожиданная лакуна. За пределами рассмотрения остается интереснейший сюжет, а именно: во всех ли государствах и культурных кругах националистический дискурс был одинаково интенсивен и многозначителен в контексте мировой истории? Очень напряженны и богаты идеями были французский, немецкий и, пожалуй, итальянский дискурсы. О французском в томе есть весьма содержательная статья Елены Филипповой. Но почему нет очерка о немецком национа-

листическом дискурсе, мне кажется попросту загадочным. Если книга названа «Национализм в мировой истории», то, спрашивается, какой национализм оказал на мировую историю большее влияние, чем немецкий? Отдельный очерк, сопоставляющий французскую (секулярно-рационалистическую) и немецкую (романтическую) традиции был бы очень уместен в первом разделе. Половина такого очерка уже есть в статье Филипповой. В ней также можно найти беглые отсылки к немецкой традиции. Их и следовало развить до полновесной второй половины такого сопоставительного исследования. Отсутствие в книге о национализме имен хотя бы Гердера и Фихте, Трейчке и Мейнеке выглядит странно.

Но вернемся к нашему сюжету. Французский и немецкий национализмы, стало быть, сильно повлияли на ход мировой истории. И определили содержание националистических дискурсов повсюду. Но можно ли то же самое сказать о британском (английском) и российско-русском (советском) националистических дискурсах? И что вообще известно, скажем, о бразильском, филиппинском, исландском или бутанском национализме? В этих странах вроде бы не было активных разговоров о «нации». Но если не было, то, может быть, еще будут? Все коллективы как-то себя идентифицируют. Но не все в равной мере озабочены самоидентификацией. Одни удовлетворяются тем, что вывешивают в окнах государственный флаг и смотрят по телевидению матчи своей футбольной сборной, а другие без конца вопрошают себя: кто мы такие? в чем наше предназначение? Сравнивают себя с другими и интересуются тем, что эти другие о них думают. И у каждого коллектива самоопределятельная озабоченность может то затухать, то разгораться. Почему так происходит? По отдельным очеркам можно собрать кое-какие указания на этот счет, но, как мне кажется, первой части тома не хватает обзорного очерка на данную

тему. Хотя бы ознакомительного. Возможно, составители полагали, что имеет смысл рассмотреть только те случаи, когда есть о чем говорить. Это естественное рациональное соображение, но разъяснения по этому поводу помогли бы сформулировать проблему, без которой тема национализма в мировой истории остается не вполне раскрытой.

Будем надеяться, что рецензируемая книга, являющая собой веху в российской политологии, своей тематикой и дискурсивной стилистикой поспособствует и эволюции российского общественного сознания. Кодификация национального нарратива и сциентистский комментарий к нему не просто тесно взаимодействуют, но и представляют собой синкретический продукт непрерывного осмоса, попеременно влияя друг на друга. До недавнего времени они даже не существовали по отдельности. Понятие «нация» пришло в науку из политической практики. Расистские же представления, наоборот, проникли в общественную дискуссию из науки. Так же как и термины «этнос», «этническая группа». Понятие «цивилизация» укоренено в научном дискурсе. Шнирельман критикует «цивилизационный подход» как «попытку *научного* (курсив мой. — А. К.) оправдания национализма» (с. 82). Национальные историографии, написанные профессиональными учеными, поколение спустя критикуются как несостоятельные самой же профессурой.

Политизация науки — это, конечно, нехорошо, но сейчас российская общественная

жизнь, пожалуй, больше страдает от засилья наукообразия с использованием устаревшего «научного» дискурса в общественной полемике и политической практике.

Составители тома (и, надо думать, весь авторский коллектив) проявляют большой такт и широту взглядов, когда пишут, что «ироническое или даже агрессивное отношение некоторых ученых и журналистов к “новым версиям истории” как исключительно “дилетантским” и не заслуживающим ничего, кроме поношения, является непродуктивным и бесперспективным». На самом деле, продолжают они, имеет место «смена символических кодов» (с. 11). Хотелось бы, чтобы «Национализм в мировой истории» оказал влияние на такую «смену кодов». Профессиональные участники этого предприятия сделали свое дело. Очередь за публикой. К сожалению, пока не очень видно, чтобы широкая российская общественность была готова к тому «новому мышлению», которое продемонстрировали авторы рецензируемой книги и к чему нас призывал первый лозунг перестройки. Поразительно, но кажется, что именно этот призыв получил самый слабый отклик у российской (или русской?) общественности. Много чего в России произошло. Мышление, похоже, изменилось меньше всего. Если не считать ошеломляющего и не обязательного засилья англицизмов. Но это к слову. ■

АЛЕКСАНДР КУСТАРЁВ